

Письмо

ВЕСОМО, БОЛЬНО, удивительно
без паутины сетевой.

Я в ожидании томительном
недели две — и сам не свой.

И вот из жестяного ящика —
а в мире холод и весна —
в ладони падает хрустящая
полоска свежего письма.

Прольётся солнечное пение,
заспорят жарким говорком
минутное оцепенение
с желаньем вскрыть одним рывком.

Но, как скупой, что обладанием,
а не игрой бывает пьян,
я спрячу жгучее послание
нераспечатанным в карман.

О власть чернильная, бумажная
над тем, чему отныне быть,
ты знаешь тайны слишком важные,
тебя не надо торопить.

Пусть строчки адреса небрежные,
недорогой конвертный лоск

согреют вымышленной нежностью
и размягчат сердечный воск.

И то, что там, внутри, оставлено —
глоток огня или игла, —
не разорвёт мой воск оплавленный,
не причинит большого зла.

Стрижи

МЫ НЕ ЗНАЕМ на суше запретной межи,
но давно ли мы небо открыли?
Посмотри, как бросаются с кручи стрижи,
словно нет у отчаянных крыльев.

Там и пусто, и голо, но ветер и тот
для горластых послужит оплотом.
Получившему право на вольный полёт
не дано насладиться полётом.

Чёрной, маленькой молнией стать довелось —
суетится, мелькает, бликует.
Прорезается визгом охотничья злость:
раздражается, а не ликует.

Мы не можем безумства себе позволять:
не схватиться за воздух руками.

А тому, кого кромка шагнуть позвала, –
миг восторга и острые камни.

Укради этот миг, со словами играй,
сладкий ужас глотай в упоенье.
Ты успеешь очнуться. А нет — так за грань,
в невозможное счастье паденья.



ВЫХОД В ЗАВТРА не найден,
но уныние — грех.
Не забыть ли на день,
не пуститься ли в бег
от рутины, от круга
вечных дел — налегке,
со случайной подругой
по Москве — по реке?

Мимо тёмных, лесистых
Воробьёвых высот
нас от пристани к пристани
неспешно несёт.
Мимо скуки и дерзкой
инженерной мечты,
мимо спеси имперской
и святой простоты.

Нас минует не сразу,
удивив, уморив,
Гулливер несуразный,
наскочивший на риф.
Проплывёт снеговая
туча Храма Христа,
следом вновь
кормысло моста.

Чтобы в споре с судьбою
тонкий лёд растопить,
я готов так с тобою
хоть до Нижнего плыть;
на последние деньги —
хоть по Волге блажной
нерешительным Стенькой
с непреклонной княжней.

Может, это движенье,
радость лёгкого дня
значат больше сближенья
для тебя и меня.
Так у Шуберта, вздохи
унося без следа,
темп с размером в итоге
подгоняла вода.



ТОЛЬКО СМЕЛОМУ? Смелому, говоришь,
покоряется белый конь?
Но Москва, к сожалению, не Париж,
как и Тульщина — не Гасконь.

Здесь посмотрят, под чьей ты рукой, сперва,
а не сколь хорош или плох.
Я всего лишь земляк писателя-Льва
да подковывателя блох.

Мне бы дома подфаковцев обучать,
вычисляя оплаты срок,
лицеисткам свидания назначать
под предлогом разбора строк.

А уж если вступать в этот чёртов град —
не под возгласы медных труб,
а флейтистом, не требующим наград,
с тонкой дудкой у тонких губ,

и, минуя засаду шатровых крыш,
не задев ни звёзд, ни орлов,
осторожно войти в вековую тишь
старых улочек и дворов.



ВОТ ДОЖИЛ до какой-то
небольшой, но твёрдой свободы.
Так юнец, бравший тачку тайком от отца,
слышит вдруг: «Теперь тебе можно».
Кто-то, сзади придерживавший за шарф,
отпустил. Отбиваю коленки,
выхожу в закрытую дверь.

После выволочки у начальства
пожимаю плечами, гляжу Джокондой,
не пихаю глицин под язык.

На лыжной пробежке в парке
тянет не по следам — по крахмальному полотну.

Продольная линия на левой руке
бледнеет, почти исчезла.



ТЫ, ЛЕЗВИЙНЫЙ клинок моей гордыни,
полтора аршина нервной стали,
игольно-тонкий, ивово-гибкий —
жалкое и страшное оружие! —
никогда не бывший в закладе,

никому на свете не нужный:
вся-то роскошь — серебро на гарде,
вся-то честь — не обнажали напрасно —
ты покинул тёмные ножны,
ты вступился за блажь господина
и теперь, в мельканье невидим,
льдисто вспыхивая на солнце,
то со стуком спицы о спицу,
то со скользким визгом полозьев —
оплетаешь в змеином танце
столь же гибкое тело стальное.
Па за па, фигура за фигурой
раздвигаешь в защите лазейку,
комариным хоботком в жажде крови
ищешь сердце чужого бога,
и — наивный, наивный, наивный! —
ударяешь в скрытую кольчугу,
выгибаешься, ломаешься с разлёта
в позвоночнике с тугим, сжатым воплем
и проигрываешь. Но, друг мой,
сам того не зная, спасаешь
неразумного хозяина от кары,
от горящего клейма убийцы.



А ЗИМА стала шаткой, и можно без шапки,
не боясь осложненья, по утрам выходить.
И бегущий автобус подбивает на опус,
развивая на спусках небывалую прыть.

Рощи — чёрны и голы — плывут частоколом,
а за ним, через щели слепя горячо,
ярко-рыжий мальчишка несётся вприпрыжку
и ведёт по забору длинной палкой-лучом.

Пословица

ЧУЖОГО УМА неприметны горки,
взлетать им над бытом неважно где.
Кто усомнился бы в поговорке
о камне лежачем и о воде?

Сосед-чуваш (мы были рабами
в московском вузе) однажды привёл:
«Стоячий пенёк обрастает грибами,
а бегаящий остаётся гол».



АХ, ШКОЛЬНЫЕ подруги в тридцать пять!
В усталой тётке сразу не узнать
соседку, а фигуристая львица,

которую мучительно желал,
теперь толста и дышит тяжело,
и снять сапог ей трудно наклониться.

Кого ты видишь в зеркале сейчас?
Кто мы и почему так мало нас?
Где сорванцы и резвые голубки? —
Смеётся Таня тонким, бледным ртом,
Светлана задевает животом,
пройдя меж кресел, поправляет юбку.

Сбежим-ка после чая в сонный сад,
как в заповедный угол без утрат,
дурачась и целуясь то и дело, —
туда, где буквы снова на трубе,
где жизнь не замотала Таню Б.,
где Света М. ещё не расплнела.



СПРАЗУ Спиркина, Кириллова и Лосева?
Перед сдачей это противопоказано.
Закрывай, студент, учебник философии —
всё и так уже давно о мире сказано.

Ты не вспомнишь ничего из тех благих вестей,
в ранней осени вертяться кленовой лопастью.
Нет на свете ничего страшнее глупости,
слаще глупости, спасительнее глупости.

В больничном сквере

РАССТАВАНИЕ БЫВАЕТ светлым —
вот и лето нас легонько гладит
по щеке. Не правда ли, острее
прежнего зенитного угара
эта ускользящая ласка?

Дни текут, позвякивая медью,
всплёскивают лень на перекатах,
синь теряют и мелеют руслом.

Если дальше незачем и не с чем —
на ближайшей парковой прогулке
вдруг замедли шаг, остановись,
запрокинь лицо к парящим кронам
и в наплыве головокруженья
обрети как веру невесомость
бабочки, живущей только светом
и пылью. Из чуждой оболочки
выплыви, распротранись, освойся,
вверх скользни по бледному лучу —

а потом, внезапно обессилев,
убаюканный теплом последним,
тихо опустишь и закачаться
в сонной паутине-колыбели.



ПОДСЧИТАВ свои уроны, сняв бесплодную
осаду
с той столицы, что не верит ни веселью,
ни слезам,
в тихом городе районном я когда-нибудь осяду,
затворив надёжно двери в свой бесхитростный
сезам.

Зашуршат бумажной лентой прежде певшиеся
годы,
отшумят ветра и грозы. Станут только и важны
недовольные клиенты, по утрам прогноз
погоды,
да наивные вопросы и фантазии жены.

Невлиятельный, но верный друг вернёт мне
эхом имя –
безотказное лекарство от сомнений и забот:
«Лучше первым на деревне, чем семьсот
двадцатым в Риме», –
и внезапное лукавство по лицу его скользнёт.

Лишь однажды трудно станет не назвать судьбу
ошибкой,
и под ложечкой царапнет ядом смазанная
сталь –
в день, когда с телеэкрана со спокойною
улыбкой
и сокурсника чертами взглянет тот,
кем я не стал.

Я жену теплей укрою, утону с бокалом в кресле,
опущу хмельные вежды под защитою икон –
и в обманчивом покое не проснётся,
не воскреснет
марш отчаянной надежды. Давний марш
за Рубикон.